

Революция или эволюция? Взгляд на русский язык XVIII века сквозь призму источников 1740-х гг.

Наталья Карева

Институт лингвистических исследований Российской Академии наук
Guangdong Technion Israel Institute of Technology

Revolution or Evolution? Russian Language of the Eighteenth Century through the Prism of Sources from the 1740s

Natalia Kareva

Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences
Guangdong Technion Israel Institute of Technology
natalia.kareva@gtiit.edu.cn

Рецензия на книгу/Review of: *Thomas Rosén, Russian in the 1740s*. Boston: Academic Studies Press. 2022. 212 p. ISBN: 9781644697979.

Исследование русского литературного языка XVIII века на протяжении долгого времени сводилось либо к изучению идиолектов отдельных авторов, либо к анализу кодификационных моделей. В фокусе внимания редко оказывались отношение самих носителей к языку и история становления определяющих его признаков.¹ В 1990–2000-е гг. был опубликован ряд работ, отчасти заполняющих эту лауну, – исследования Г. Хюттль-Фольтер, А. Кречмер и Б. А. Успенского.² В 2017 г. вышла фундаментальная *История языка русской письменности* В. М. Живова, где ситуация в первой половине XVIII в. была представлена следующим образом. Результатом лингвистических преобразований петровской эпохи стал отказ от регистровой организации языка. В 1730-х гг. началась кодификация нового идиома, следы ее обнаруживаются в печатных текстах 1740-х гг. Тем не менее, до конца 1750-х гг. новый стандарт оставался достоянием лишь небольшой части образованной элиты.³

¹ Указанные подходы к построению истории литературного языка были выделены Г. Кайпертом: Н. Keipert, “Geschichte der russischen Literatursprache” in *Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen* (Wiesbaden: Harrasowitz, 1999), 727.

² G. Hüttl-Folter, *Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen* (Vienna: Böhlau, 1996); A. Kretschmer, *Zur Geschichte des Schrift-russischen. Privatkorrespondenz des 17. und frühen 18. Jahrhunderts* (Munich: Otto Sagner, 1998); Б. А. Успенский, *Вокруг Тредиаковского* (Москва: Индрик, 2008). (B. A. Uspenskii, *Vokrug Trediakovskogo* (Moscow: Indrik, 2008)).

³ В. М. Живов, *История языка русской письменности*. В 2-х тт. (Москва: Университет Дмитрия Пожарского, 2017), 2, 933–1060. (V. M. Zhivov, *Istoriia iazyka russkoi pis'mennosti*. 2 vols. (Moscow: Universitet Dmitriia Pozharskogo, 2017), 2: 933–1060).

Предложенная В. М. Живовым характеристика справедлива, однако относится лишь к одному сегменту функционирования языка и не отражает целостной картины его развития. Ведь, как признавал сам исследователь⁴, историю литературного языка Нового времени невозможно написать, не представляя себе, каков был круг пользователей этого языка, как он воспринимался большинством населения, когда начал утрачивать свою элитарность. Именно этим вопросам и посвящена книга Т. Русена. Привлекая широкий исторический контекст и подходя к материалу с позиций социолингвистики, автор реконструирует существовавшие в 1740-е гг. формы письменного языка и ставит вопрос об их отличиях друг от друга. Через призму полученных результатов он предлагает посмотреть на XVIII столетие в целом и еще раз задуматься о роли этого периода в становлении русского литературного идиома. Постановке вопроса и подробному обзору существующей литературы посвящены главы 1 и 2.

Следует отметить, что до настоящего времени язык указанного десятилетия не становился объектом специального исследования – появлялись лишь работы, посвященные лингвистической специфике отдельных жанров.⁵ В своей книге Т. Русен анализирует репрезентативные, с его точки зрения, тексты, относящиеся к различным функциональным сферам. Производя выборку, он обращается к печатным и рукописным материалам, как размещенным в сети Интернет, так и хранящимся в библиотеках и архивах России, Украины, Дании, Финляндии и Швеции. Описание источников исследования представлено в главе 4.

Прежде чем перейти к непосредственному анализу данных, Русен суммирует доступные на настоящий момент знания о том, какими были общество, образование и механизмы языкового регулирования в 1740-е гг. Этим вопросам посвящена глава 3. Выбранное десятилетие относится ко времени правления императрицы Елизаветы – периоду относительной политической и социальной стабильности в Российской империи. Общая численность населения страны составляла в это время порядка 19 млн. человек, из них 90% – крестьяне различных категорий; 3–4% – городское сословие, 1,5–2% – священнослужители и 1–1,5% – военные. Дворянство составляло 0,5% населения, т.е. чуть больше 37 000 человек.⁶

⁴ В. М. Живов, Е. А. Земская, Л. П. Крысин, “Рец. на: ‘Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen.’ Wiesbaden: Harrasowitz, 1999,” *Вопросы языкознания*, 2000, №5, 127. (V. M. Zhivov, E. A. Zemskaja, L. P. Krysin, “Rets. na: ‘Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen.’ Wiesbaden: Harrasowitz, 1999,” *Voprosy iazykoznaniiia*, 5 (2000), 127).

⁵ Так, значимый вклад вносят исследования Е. И. Кисловой, посвященные проповеди елизаветинского времени. См., например: Е. И. Кислова, “Проповедь 1740-х гг. в истории русского языка” в *Окказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII в.* (Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2010), 33–52. (E. I. Kislova, “Propoved' 1740-h gg. v istorii russkogo iazyka,” in *Okkazional'naiia literatura v kontekste prazdnichnoi kul'tury Rossii XVIII v.* (St Petersburg: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2010), 33–52).

⁶ Б. Н. Миронов, *Российская империя: от традиции к модерну*. В 3-х тт. (Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2014), 1, 444–445. (B. N. Mironov, *Rossiiskaia imperiia: ot traditsii k modernu*. 3 vols. (St Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2014), 1: 444–445).

Централизованной системы образования не было: существовали церковные школы (церковь всё еще оставалась основным поставщиком образовательных услуг), государственные учебные учреждения, а также практика найма частных учителей. В церковных школах учили за редким исключением по славянскому букварю, молитвослову и псалтыри. В светских образовательных учреждениях преподавали, по большей части, иностранцы. Русскому языку, таким образом, практически не обучали. Общий уровень грамотности среди взрослых мужчин составлял менее 5%. Среди женщин он был значительно ниже. Читательская публика в 1740-е гг. составляла менее 1% населения: т.е. лишь небольшая часть грамотного населения могла воспринять структурированный текст на русском. Но следует отметить, что подсчеты историков образования – Т. Русен опирается на данные Б. Н. Миронова и Г. Маркера⁷ – не учитывают распространенную среди крестьян церковнославянскую грамотность.⁸

В 1724 г. по образцу европейских академий была создана Санкт-Петербургская Академия наук. Она состояла из нескольких классов, из которых ни один формально не был занят регламентацией русского языка. Работа по его нормализации началась во второй половине 1730-х гг. после учреждения Российского собрания. По мнению Б. А. Успенского, идея его создания принадлежала В. К. Тредиаковскому.⁹ Т. Русен полагает, что роль президента Академии наук И. А. фон Корфа в этом начинании была не менее значимой (с. 55).¹⁰ Что касается языковых реформ, то, как отмечает Т. Русен, новации Тредиаковского не имели значимого эффекта на дальнейшее развитие литературного языка (с. 52).¹¹ С этим утверждением сложно согласиться. Как убедительно показал Б. А. Успенский, выступления Тредиаковского и В. Е. Адогурова в 1730-е гг. предвосхитили концепцию карамзинистов, а языковая программа Тредиаковского второй половины

⁷ Б. Н. Миронов, “Грамотность в России 1797–1917 гг.: Получение новой исторической информации с помощью методов ретроспективного прогнозирования,” *История СССР*, 1985, №4, 137–153. (B. N. Mironov, “Gramotnost’ v Rossii 1797–1917 gg.: Poluchenie novoi istoricheskoi informatsii s pomoshch’iu metodov retrospektivnogo prognozirovaniia,” *Istoriia SSSR* 4 (1985), 137–153); Gary Marker, “Literacy and Literacy Texts in Muscovy: A Reconsideration,” *Slavic Review* 1 (1990), 74–89.

⁸ Предположение о том, что церковнославянская грамотность не включалась в сферу культуры и не рассматривалась историками образования как самостоятельное явление, было высказано А. Г. Кравецким применительно к ситуации XIX – начала XX вв.: А. Г. Кравецкий, “Литургический язык как предмет этнографии” в *Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой* (Москва: Индрик, 1999), 228–242 (A. G. Kravetskii, “Liturgicheskii iazyk kak predmet etnografii” in *Slavianskie etyudy. Sbornik k iubileiu S. M. Tolstoi* (Moscow: Indrik, 1999), 228–242).

⁹ Б. А. Успенский, “Грамматические штудии Тредиаковского,” *Вокруг Тредиаковского* (Москва: Индрик, 2008), 528. (B. A. Uspenskii, “Grammaticheskie shtudii Trediakovskogo,” in *Vokrug Trediakovskogo* (Moscow: Indrik, 2008), 528).

¹⁰ Т. Русен основывается на данных Е. Г. Пивоварова (хотя едва ли его материалы позволяют прийти к подобного рода выводам): Е. Г. Пивоваров, “К истории создания Российского собрания Академии наук,” *Социология наук и технологий*, 2018, № 4, 7–20. (E. G. Pivovarov, “K istorii sozdaniia Rossiiskogo sobraniia Akademii nauk,” *Sotsiologiya nauk i tekhnologii* 4 (2018), 7–20).

¹¹ Т. Русен опирается на мнение А. В. Исаченко: А. В. Issatschenko, “Russian” in *The Slavic Literary Languages* (New Haven: Yale Concilium on International and Area Studies, 1980), 132.

1740-х гг. оказала влияние на М. В. Ломоносова и “архаистов.”¹² Кроме того, Т. Русен отмечает, что одновременно с Третьяковским в Академии наук работали другие не менее талантливые переводчики, чья деятельность оказалась практически забыта. Укажем, со своей стороны, на И. С. Горлицкого, в 1720-е гг. составившего сопоставительную французско-русскую грамматику.¹³ С учетом того, что сохранились и другие описания русского языка 1720–1730-х гг.¹⁴, не вполне справедливым кажется утверждение Т. Русена о том, что до выхода *Anfangs-Gründe der Russischen Sprache* Адодурова в 1731 г. в России не было грамматики “для внутреннего пользования” (с. 45). Очевидно, ряд рукописных текстов циркулировал внутри Академии наук и был известен за её пределами. Так называемые “грамматики Академической гимназии,” были, вероятно, знакомы многим выпускникам светских учебных учреждений 1730-х гг. Деятельность по разработке терминологического аппарата – по крайней мере, в области лингвистики – также началась задолго до создания Российского собрания. Достаточно вспомнить выход в 1717 г. на русском языке и с использованием русской терминологии *Искусства нидерландского языка* В. Севела в переводе Я. Брюса.¹⁵

Как известно, сведений о деятельности Российского собрания сохранилось немного. Задачи, поставленные в речи Третьяковского 1735 г. – создание грамматики, словаря, поэтики и риторики – не были решены. Однако, как указывает Т. Русен, государственное регулирование в области языка осуществлялось не столько в виде академических предписаний, сколько посредством унификации документов. Согласно Генеральному регламенту, введенному в 1720 г. Петром I, официальные бумаги надлежало составлять, следуя “генеральным формулярам” или “образцовым письмам.”

¹² Б. А. Успенский, “Языковая программа раннего Третьяковского: Третьяковский и Карамзин” в *Вокруг Третьяковского* (Москва: Индрик, 2008), 80–170. (B. A. Uspenskii, “Iazykovaia programma rannego Trediakovskogo: Trediakovskii i Karamzin” in *Vokrug Trediakovskogo* (Moscow: Indrik, 2008), 80–170); Б. А. Успенский, “Языковая программа позднего Третьяковского: Третьяковский и Шишков” в *Вокруг Третьяковского* (Москва: Индрик, 2008), 170–217. (B. A. Uspenskii, “Iazykovaia programma pozdnego Trediakovskogo: Trediakovskii i Shishkov” in *Vokrug Trediakovskogo* (Moscow: Indrik, 2008), 170–217). См. также: А. А. Алексеев, “Эволюция языковой теории и языковая практика Третьяковского” в *Литературный язык XVIII века. Проблемы стилистики* (Ленинград: Наука, 1982), 86–128. (A. A. Alekseev, “Evoliutsiia iazykovoï teorii i iazykovaia praktika Trediakovskogo,” in *Literaturnyi iazyk XVIII veka. Problemy stilistiki* (Leningrad: Nauka, 1982), 86–128).

¹³ См. о нем: А. С. Смирнова, “Академический переводчик Иван Семенович Горлецкий” в *Филологическое наследие М. В. Ломоносова* (Санкт-Петербург: Нестор-История, 2013), 235–252. (A. S. Smirnova, “Akademicheskii perevodchik Ivan Semenovich Gorleckii” in *Filologicheskoe nasledie M. V. Lomonosova* (St. Petersburg: Nestor-Istoriia, 2013), 235–252). О его грамматике см. С. В. Власов, Л. В. Московкин, “Из истории Императорской Академии наук: профессиональная деятельность переводчика И.С. Горлицкого” в *Литературная культура России XVIII в. Вып. 7* (Санкт-Петербург: Геликон-Плюс, 2017), 23–34. (S. V. Vlasov, L. V. Moskovkin, “Iz istorii Imperatorskoi Akademii nauk: professional'naiâ deiatel'nost' perevodchika I.S. Gorlitskogo” in *Literaturnaia kul'tura Rossii XVIII v., 7* (2017), 23–34).

¹⁴ Анонимная *Compendium grammaticae russicae* и *Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache* И.-В. Паузе.

¹⁵ [Я. Брюс], *Вилима Севела Искусство нидерландского языка* (Санкт-Петербург: б.и., 1717). ([Ja. Brius], *Vilima Sevela Iskusstvo nederlandskogo iazyka* (St. Petersburg: s. l., 1717)).

Они выходили и в 1740-е гг. – в качестве примера в книге приведены формы о титулах Его Императорского Величества 1741 г. и кредитного письма 1743 г.

Размышляя о методологии в 5 главе своей книги, Т. Русен отмечает доминирование количественного подхода в исследованиях по русскому языку XVIII века.¹⁶ С социолингвистической точки зрения материал при этом изучен недостаточно.¹⁷ В своей работе Т. Русен предлагает регистровый анализ, подразумевающий ситуационный анализ (т.е. сбор данных о процессе создания текста, его авторе, читателях, задачах и тематике), исследование языковых особенностей различных регистров на примере нескольких репрезентативных текстов и, наконец, функциональный анализ собранных данных (т.е. выявление причин, по которым те или иные языковые элементы встречаются в определенном контексте). Под регистром – вслед за В. М. Живовым и Р. Хадсоном¹⁸ – Т. Русен понимает языковые подсистемы, находящиеся в употреблении у одного коллектива и используемые в различных коммуникативных ситуациях.

Т. Русен исходит из “принципа однородности” – постулата о неизменности человека как биологического, психологического и социального существа – и, отталкиваясь от работы Ю. Н. Караулова,¹⁹ выдвигает гипотезу о том, что в 1740-е гг. набор функциональных сфер использования русского языка был практически таким же, что и сегодня. Соответственно, применительно к изучаемой эпохе предлагается говорить о следующих регистрах: 1) языке религиозной литературы и церкви; 2) языке печатных текстов (художественной литературы, прессы, научном языке); 3) языке традиционной государственной документации; 4) языке неформальной речи; 5) профессиональном языке; 6) социолекте не носителей языка. Три из выделенных регистров – язык религиозной литературы и церкви; неформальная речь и социолект не носителей языка – сразу же исключаются из рассмотрения. Язык религиозной литературы – в связи с тем, что большая часть принадлежащих к этому регистру текстов написана на гибридном церковнославянском, а неформальная речь и социолект не носителей языка – по причине недостатка материала.

В 6-й главе книги Т. Русен задается вопросом: какими данными располагают исследователи о процессе создания текстов в XVIII веке? В

¹⁶ В. М. Живов, *Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков* (Москва: Языки славянской культуры, 2004). (V. M. Zhivov, *Ocherki istoricheskoi morfologii russkogo iazyka XVII–XVIII vekov* (Moscow: Iazyki slavianskoi kul'tury, 2004)); G. Hüttl-Folter, *Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen* (Vienna: Böhlau, 1996).

¹⁷ Единственное исследование такого рода – это книга А. Кречмер: А. Kretschmer, *Zur Geschichte des Schriftrussischen. Privatkorrespondenz des 17. und frühen 18. Jahrhunderts* (Munich: Otto Sagner, 1998).

¹⁸ Живов, *История языка русской письменности*, 1, 26. (Zhivov, *Istoriia iazyka russkoi pis'mennosti*, 1: 26.); R. A. Hudson, *Sociolinguistics*, 2nd edition (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 45.

¹⁹ Ю. Н. Караулов, *О состоянии русского языка современности (Доклад на конф. “Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики” и материалы почтовой дискуссии)*. (Москва: б. и., 1991). (Yu. N. Karaulov, *O sostoianii russkogo iazyka sovremennosti (Doklad na konf. “Russkii iazyk i sovremennost.” Problemy i perspektivy razvitiia rusistiki' i materialy pochtovoi diskussii)*. (Moscow: s. l., 1991)).

книгах этого времени, как правило, указывались имена авторов. Но большую часть печатной продукции составляли не книги, а законы. Они создавались в государственных учреждениях, и, соответственно, к их сочинению были причастны несколько человек. Субординация между адресатом и адресантом отражалась на стиле и используемых речевых формулах. Кроме того, печатные, цельногравировальные и рукописные материалы отличались в языковом отношении. Например, для лубка были характерны архаичные морфология и графика, а рукописные документы часто сохраняли разговорные элементы. В целом, ситуационный анализ приводит Т. Русена к следующим выводам. Почти все сохранившиеся тексты 1740-х гг. написаны мужчинами, в основном, профессиональными писцами. Текстам присуща формульность. Индивидуальное начало нередко сводится к приветствию и подписи.

Предпринятый в 7-й главе лингвистический анализ Т. Русен начинает с рассмотрения эго-документов – сохранившейся в Шведском Национальном Архиве расписки штурмана российского флота и писем русских моряков, попавших в плен во время войны со шведами в 1741–1743 гг. Несмотря на частный характер коммуникации, письма содержат канцеляризм и следуют шаблонам. Как показывает Т. Русен, формульные выражения широко использовались и в дипломатическом узусе. Высокой тенденцией к стандартизации характеризовался также язык региональной администрации. В наибольшей мере языковые новации проявились в печатных текстах, однако в области графики и орфографии допускались отклонения от академических предписаний. Проследить, как менялись печатные тексты на протяжении первой половины XVIII века, позволяет сопоставление нескольких изданий одного и того же документа. Т. Русен обращается к *Воинскому артикулу*, опубликованному в 1715, 1735 и 1744 гг., и рапортам фельдмаршала П. де Ласси о ходе русско-шведской войны, выходящим в Москве и Санкт-Петербурге осенью 1742 г. Т. Русен отмечает, что в публикации *Воинского артикула* 1744 г. встречается, например, исключенная из алфавита в 1735 г. ижица; издания 1715 и 1734 гг. содержат архаичные падежные окончания; все три издания содержат инфинитивы на *-ти*. Публикации рапорта Ласси имеют между собой ряд орфографических различий, при этом содержат устаревшие морфологические формы и синтаксические конструкции.

Размышляя в 8-й главе книги о причинах появления отмеченных особенностей, Т. Русен приходит к выводу о сильном влиянии традиции на языковой узус 1740-х гг. Именно властью традиции он объясняет появление устаревших форм и синтаксических конструкций в государственных актах и дипломатической переписке. Другим важным фактором является уровень образования населения. В 1740-е гг. большая его часть была неграмотна. Множество текстов создавалось профессиональными писцами, которые зачастую не были знакомы с предполагаемым адресатом, и, составляя текст, предпочитали следовать образцам. Использование формульных выражений облегчало понимание текста, оберегало от неверного толкования – именно

поэтому формулы и шаблоны широко использовались в государственном делопроизводстве. Наконец, язык текстов исследуемого периода всегда в той или иной степени стремился отразить социальный статус адресата и адресанта; речевые формулы выстраивали и закрепляли иерархические отношения между ними. Эта тенденция прослеживается не только в документах, но и в частной переписке.

Подводя итоги, Т. Русен формулирует в 9-й главе следующий вывод. Если применительно к языку более раннего периода регистрационная принадлежность текста устанавливается на основании наличия или отсутствия в нем тех или иных морфологических форм, то в материале 1740-х гг. она маркируется в первую очередь лексическими средствами – формульными выражениями и коллокациями. Анализ лексики, в свою очередь, показывает, что некоторые регистры были тесно связаны друг с другом (например, язык документации и профессиональный язык), тогда как другие обладали большей независимостью. В этой связи Т. Русен предлагает рассматривать как отдельный регистр язык печатной продукции, отличающийся относительным единообразием. А к другому регистру – включающему в себя множество подрегистров – относит язык рукописных текстов, характеризующийся вариативностью графики и орфографии, а также широким использованием формульных выражений. Исследование рукописного наследия XVIII в. до настоящего времени привлекало внимание лишь отдельных исследователей – А. П. Майорова, О. В. Никитина, С. И. Коткова.²⁰ Тем не менее, именно обращение к рукописным памятникам, по мнению Т. Русена, позволяет составить реалистичное представление о письменном языке русского общества этого периода. Анализ печатных материалов, создававшихся небольшой группой высокопрофессиональных переводчиков и книгоиздателей, дает искаженную картину.

Некоторые методологические решения Т. Русена представляются спорными. Так, логически не оправданным кажется выделение шести регистров, из которых в действительности рассматриваются только три, а результатом рассмотрения является вывод о необходимости выделения двух – языка печатных и языка рукописных текстов. При этом, как отмечает сам автор, рукописное наследие 1740-х гг. представляет собой обширный и очень гетерогенный материал. Разносторонний анализ этого массива во всем его многообразии является делом будущего – в этом отношении книга Т. Русена предлагает перспективное направление дальнейших исследований и является существенным шагом на пути к ним.

²⁰ А. П. Майоров, *Очерки лексики региональной деловой письменности XVIII века* (Москва: Издательский дом “Азбуковник,” 2006). (A. P. Maiorov, *Ocherki leksiki regional'noi delovoi pis'mennosti XVIII veka* (Moscow: Izdatel'skii dom “Azbukovnik,” 2006)); О. В. Никитин, *Проблема этнолингвистического изучения памятников деловой письменности* (Москва: “Флинта,” “Наука,” 2000). (O. V. Nikitin, *Problema etnolingvisticheskogo izucheniia pamiatnikov delovoi pis'mennosti* (Moscow: “Flinta,” “Nauka,” 2000)); С. И. Котков, “Русская частная переписка XVII–XVIII вв. как лингвистический источник,” *Вопросы языкознания*, 1963, №6, 107–116. (S. I. Kotkov, “Russkaia chastnaia perepiska XVII–XVIII vv. kak lingvisticheskii istochnik,” *Voprosy iazykoznaniiia* 6 (1963), 107–116).

Кроме того, значимым представляется стремление автора снова поставить вопросы, ответы на которые до настоящего момента не вызывали сомнений. Русский язык XVIII века принято рассматривать как период радикального обновления литературного идиома.²¹ Однако так ли это было на самом деле? Возможно, трансформационный процесс носил постепенный характер?²² Ответ может дать только всестороннее исследование рукописного наследия. Эта работа, как указывает Т. Русен в заключении, должна начаться с создания размеченного корпуса источников, и не исключено, что её результаты заставят научное сообщество пересмотреть сложившиеся взгляды на роль XVIII века в истории русского литературного языка.

²¹ Вспомним хрестоматийное определение В. М. Живова: “Восемнадцатое столетие – эпоха радикального преобразования русской языковой ситуации, захватывающего все уровни русского языка и все сферы его функционирования.” В. М. Живов, *Язык и культура в России XVIII века* (Москва: Школа “Языки русской культуры,” 1996), 13. (V. M. Zhivov, *Iazyk i kul'tura v Rossii XVIII veka* (Moscow: Shkola “Iazyki russkoi kul'tury,” 1996), 13).

²² Говоря о языковых изменениях, Т. Розен прибегает к терминологии В. Г. Костомарова, который пользуется понятием “синхрония,” определяя его следующим образом: “Синхрония представлена как виртуальный период, в котором диахрония скрыта или дает о себе знать вариативностью, раздражающими ‘ошибками,’ другими свидетельствами языковой динамики.” В. Г. Костомаров, *Стилистика, любовь моей жизни* (Санкт-Петербург: “Златоуст,” Гос. ИРЯ им. Пушкина, 2019), 179. (V. G. Kostomarov, *Stilistika, liubov' moei zhizni* (St. Petersburg: “Zlatoust,” Gos. IRIa im. Pushkina, 2019), 179).